

БОЛЬШАЯ
ПРОЗА

АНДРЕЙ
ИВАНОВ

АНДРЕЙ
ИВАНОВ

**ОБИТАТЕЛИ
ПОТЕШНОГО
КЛАДБИЩА**



МОСКВА
2019

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
И17

Художественное оформление серии *С. Власова*

В оформлении переплета использована фотография:
pisaphotography / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com

Иванов, Андрей Вячеславович.

И17 Обитатели потешного кладбища / Андрей Иванов. —
Москва : Эксмо, 2019. — 704 с.

ISBN 978-5-04-098685-9

Новая книга Андрея Иванова погружает читателя в послевоенный Париж, в мир русской эмиграции. Сопротивление и коллаборационисты, знаменитые философы и художники, разведка и убийства... Но перед нами не историческое повествование. Это роман, такой же, как «Роман с кокаином», «Дар» или «Улисс» (только русский), рассказывающий о неизбежности трагического выбора, любви, ненависти — о вопросах, которые волнуют во все времена.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-098685-9

© Иванов А., 2019
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2019



1

Мы нашли мсье Моргенштерна в Люксембургском саду. Вытянувшись во весь рост, он лежал на скамейке, над ним покачивались грустные ветви раскидистого каштана. Закат и камнеломка выстлали за его временным аскетическим ложем пурпурный ковер. Чуть поодаль из-за листвы выглядывала одна из тех статуй, что в сумерках производят гнетущее впечатление.

Мари негромко вскрикнула и побежала к нему.

— Альфред? Альфред, проснитесь! Вам нельзя здесь лежать...

Она пыталась привести его в чувства. Взгляд старика блуждал. Я подумал, что он, должно быть, сильно пьян. Он не узнавал ее совсем. От досады Мари выругалась, по-французски. Старик что-то пробормотал и отвернулся. В полной растерянности, я стоял в стороне, чувствуя, как вокруг меня нарастает волнение. Ветви шуршали, змеилась пыль, старые сухие листья танцевали. Что-то происходит, понимал я, что-то таинственное. Я ощутил мягкий толчок в спину. Подумал, кто-то шутит, хотел оглянуться, но мгновенно догадался, что в этом нет никакого смысла. Теплая волна воздуха мурашками пробежала по спине, клубок переживаний, которые мне еще предстоит разобрать на строки и нити, кровью прилил к шее, ударил в голо-

ву и с отчетливым хрустом в позвонках сдвинул во мне давно застывшие части. С той самой минуты, когда мы нашли мсье Моргенштерна недалеко от выхода из Люксембургского сада на бульвар Сен-Мишель, я совпал с движением, которым был охвачен Париж, я ожил.

— Да помогите же, Виктор! — крикнула Мари, и я окончательно очнулся.

— Да. Иду!

Город волнуется с конца прошлого года. Я наблюдал зарождение агонии как лаборант, изучающий какой-нибудь вирус, привитый лошади. На все смотрел с улыбкой: люди бегают, в окнах лица, разгоряченные, любопытные, напуганные. Я с детства обожаю хаос, люблю бывать на вокзале, смотреть, как пассажиры торопятся на поезда. Эвакуацию в Чистополь в 1941 году я воспринял с энтузиазмом. Мама плакала, папа был белый как мел, а в моей груди гудел пламень; когда мы оказались посреди пустырей и ледяного ветра, в деревянной избушке с земляным полом недалеко от длинной-предлинной пристани, они пришли в ужас, а я был в восторге. Сколько впечатлений! Сколько свободы! Наконец-то я сбежал из пыльной Москвы. Никогда ее не любил и не хотел идти в школу. Я знал, в какую меня поведут, она проглотила многих моих знакомых, и все они ее ненавидели. Здание походило на казарму. Мы с мамой часто ходили мимо, и я, глядя на парадный вход с колоннами и лепниной, содрогался от мысли, что вскоре эти огромные двери проглотят и меня тоже. По битым ступеням, хрипло переругиваясь, скакали заматерелые мальчуганы. Я глядел на них и представлял, как они будут мне давать тычки, подзатыльники и щелбаны. Мама останавливалась и показывала мне учителя, — а этот, думал я, будет мне ставить двойки и вызывать в школу отца. От рутины спасла эвакуация. В Чистополе была совсем другая школа, там все учились понарошку...

Серый мятый плащ, черные брюки, штиблеты; одной рукой он держался за спинку скамейки, другая безжизненно свисала. Мы склонились над ним. Нет, мсье Моргенштерн не был пьян. Он что-то лепетал. Листва вмешивалась, не давала понять.

В тот день мы смотрели Alphaville в полупустом синематеклубе. Случайно забрели. Мари увидела афишу, сказала, что у нее устали ноги, фильм ей советовал посмотреть Клеман.

— У него безупречный вкус. Я читаю все, что он мне приносит. Я полностью ему доверяю. Он немного чокнутый, но это пустяки. Я вас обязательно познакомлю! Вы его полюбите, вот увидите! Идем?

У меня не было денег, но было поздно — мы вошли в клуб, мы подошли к кассе, она купила билеты. Было страшно неловко. Мари пропустила мои извинения мимо ушей, она смело шла к своему любимому месту, в самой середине.

— Я обычно сижу здесь, в каждом синема! — Села и быстро расстегнула туфельку. — С самого рождения со мной было что-то не так. Вечная путаница в документах! Я родилась во время немецкой оккупации, моя сумасшедшая мать собиралась меня назвать Марией Антуанеттой. Представляете, какая дура! Была бы я сейчас... — Расстегивала другую, посмотрела на меня и встряхнула волосами, чудесными волосами. Я не успел ничего ответить, даже улыбнуться не успел. — Дед хотел Сталиной назвать, в сороковом-то году... Отца никто не спрашивал, считалось, что у меня его не было, но потом все выяснилось... По паспорту я — Мари Анн, но так меня никто не зовет.

Дома она Марианна, для лучших друзей — Мари; во время учебы на филологическом факультете в Нантере она по вечерам работала в пансионате, где одна русская аристократка звала ее Нюрц, и каждый раз, когда Мари входила в пансионат, глаза пожилой дамы наполнялись слезами: «А вот и моя милая Нюрц! — брала Мари за руку: — Посиди со мной, дорогая

Нюрц». Единственный, кто звал ее Мари Анн, был директор маленькой строительной конторы, ему позарез нужна была знающая английский стенографистка, однако за неполных два месяца, что Мари у него проработала, он ни разу не попросил ее что-нибудь перевести или стенографировать, зато вежливый негодяй распускал свои лапы, и она ушла.

— Отец и его друзья зовут меня Маришкой. Красиво?

— Очень.

Мари родилась в Аньере, на собачьем кладбище, смотрителем которого был ее дед; роды приняла бабушка...

Еще Мари говорит по-польски.

— А вы говорите по-польски?

— К сожалению, нет.

Я был очарован и не хотел этого скрывать. Пусть видит! В зале тихо щелкали перекидные часы. Во мне закипало желание. Минута за минутой... Погас свет, — «смотрите туда, не надо на меня смотреть». Я услышал, как звякнул замочек на туфельке, она их легко скинула, с мягким шуршанием падали цифры на часах. Вдруг она поставила ножки на мой ботинок...

— Позвольте?

— Да.

И время остановилось.

Я приехал в Париж в октябре 1967 года; до того, как познакомился с Мари и поселился на rue d'Alesia, я не мог насытиться Парижем, он затмевал мои мысли, я чувствовал присутствие города даже во сне, меня здесь все волновало, белых пятен на карте становилось меньше и меньше, в некоторых местах образовались дыры, несколько раз меня посещало тревожное ощущение, будто мне что-то сейчас откроется, какая-то великая тайна, вокруг меня оживал воздух, он начинал струиться, над головой что-то колебалось, меня оведали струи ветра, поднимался шорох, я спешил найти тихую улочку и затаиться в ней,

чтобы наедине разобраться с этим явлением, но восхитительное ощущение присутствия чего-то великого быстро меня покидало, я оставался истуканом стоять в парке или долго сидел на скамейке, во мне струилась тоска, как давно забытый мотив, я что-то писал, но ничего не складывалось, отправлялся гулять по набережным, и тогда на меня находило другое странное чувство: будто я обернут в целлулоидную пленку из фантазий и историй — всего того, что я навоображал об этом городе; оглядываясь на собор Парижской Богоматери, я на мгновение видел открытку, ту самую открытку собора, что висела у меня над кроватью в Ленинграде на Гаванской, 8А (там были и другие: кенотаф на могиле Бодлера, Триумфальная арка и, разумеется, Эйфелева башня); сделав несколько шагов, снова оглядываюсь: собор на месте, настоящий, огромный, и я себе говорю: это не фильм, не сон, не открытка.

Редакция находилась в двух шагах от Пер-Лашез, я непременно оказывался там каждый день, бродил по влажным дорожкам кладбища, смотрел, как безразличное солнце облизывает монументы, скользит по холмам некрополя, сдвигает тени, словно пытаюсь заглянуть в склепы; напоследок таинственно блеснув в серой лужице, образовавшейся на плите старинного надгробья, солнце исчезало, и только тогда я замечал какие-нибудь детали: на огромную бабочку похожий лист, упрямое пламя свечи, рассыпанные монетки, поломанные ступени, из-под которых уродливыми рептилиями выглядывали извивающиеся корни — воистину деревья здесь питаются мертвецами и превращаются в монстров! На скамьях и булыжниках медленно тлели розовые отпечатки заката; последний слабый луч, облюбовав длинную поэтическую эпитафию, полз от слова к слову, как рука слепца, читающего шрифт Брайля. Помню, как увидел ворота Пер-Лашез в первый раз. Я зашел туда только потому, что слишком рано было идти на randevu. Позвонил

в редакцию, сказал, что у меня есть рекомендация, моего звонка ждали, Роза Аркадьевна, главный редактор «Русского парижанина», предложила встретиться, продиктовала адрес. «Вы знаете, где это?» Я ответил, что знаю. «Вот и отлично. Так будет проще. Даже если я вам скажу, как найти нас, вы вряд ли найдете. Адреса в Париже обманчивы. Это не совсем на rue de la Roquette. Тут все немножко хитро устроено. Нужно свернуть на rue de la Folie-Regnault и зайти через синие ворота. Но кто их вам откроет? Тут у нас к тому же такой привратник своеобразный...» (Я это выяснил чуть позже, мы сдружились со стариком.) И я пошел по бульварам, заглядывал в книги на лотках, выхваченные строки сплетались в поэму, все казалось связным, все волновало. На Монмартре была сутолока. Хотелось есть, но денег хватило только на бокал вина в небольшом кафе. Входили и выходили шумные посетители, появлялись официанты и исчезали, каждый спешил добавить свой собственный звук, точно они были джаз-бэндом. Я выпил и пошел гулять. Ветер-мим подбрасывал листья. В отдалении звучал колокол, квакали клаксоны. Я был легок, хотелось танцевать. Мое приподнятое настроение развеялось, как только я оказался за воротами кладбища. Приветственно зашелестел древний кедр, приподнял ветви и с медленным вздохом их опустил, — стало тихо и тяжело на душе; мне подумалось: невинность моей жизни кончилась (в мои неполные тридцать три я был относительно невинен). Ноги привели меня к монументу спящей виконтессы; я долго стоял, глядя на то, как она лежит, тени и блики приводили в движение складки мраморного савана; от ее лица веяло покоем; ветерок трепал мои волосы, я хотел уйти, но почему-то удерживал себя, вглядывался в ее черты, в ней было что-то знакомое, я смотрел и не мог понять, а потом неожиданно понял: она напоминала мне маму! Мне захотелось поцеловать ее, но кругом были люди, что-то выискивали, перекрикивались до

неприличия громко, я ушел (с тех пор, сколько ни бродил там, ни разу не нашел того монумента). Прогулка меня отрезвила, мне казалось, будто покойники наблюдают за мной из окошек своих каменных домиков и шепчут: эй, чужестранец, что ты ищешь здесь?

С первых дней Париж меня дурачит и кроит на свой лад, навязывает свою пульсацию, свой телеграфный код; город не оставляет меня без присмотра, сопровождает звуками, тенями, запахами. В сумерках я теряюсь, они наваливаются внезапно, как пьяный прохожий, который кладет тебе на плечо руку, говорит несколько слов и лезет обниматься. Огни фонарей сдвигают перспективу, щекочат глаза, — я хожу медленно, осторожно, боюсь наступить на спящего на решетке бродягу, вздрагиваю от хлопка ставни или скрипа витринной решетки. А как таинственно порой на ветру колышутся тенты, как крылья! Приноравливаюсь и к ночным крикам, и бесцеремонным утрам... пению птиц, гаму, толкотне... Голоса, шарканье, грохот грузовиков, позвякивание цепей — все обладает характером, насмешливым и высокомерным, каждый звук одергивает: чужак, что тебе надо? Тыходишь в тень и потихоньку прозреваешь, но тут тебя небрежно задевают плечом, в лицо летят обрывки фраз, которые ты долго пытаешься склеить, но надоедливый скулеж тележки, сливаясь с голосом попрошайки, не дает собраться с мыслями. Ты раздражаешься, идешь, жмурясь на солнце, а из-за плеча вырастает фигура соглядатая. «Эта авеню бесконечна», — говорит некто, я ничего не отвечаю, не до конца веря, что обращаются ко мне. «Я не ел со вчерашнего дня», — продолжает незнакомец с ясными от голода глазами, — его, наверное, подослал город. «Я спал под открытым небом... Нет, нет, мсье, не лезьте в карман, я не прошу милостыню, мне заплатят завтра. Я просто хотел сказать, что в Париже много улиц и бульваров, и бывают такие дни, когда

они становятся длинней, а бывают дни, когда они кажутся короткими... Город словно сжимается и разжимается, как пружина». — «Город дышит», — говорю я, мой попутчик радостно соглашается.

Я видел, как поймали вора в метро, сначала услышал истошный вопль, протяжный, переходящий в завывание, и вспомнил: так кричали ослы, у нас в Чистополе были ослы, иногда они кричали совсем как люди; вору, наверное, было не больше семнадцати, мальчишка, тощий, с красивыми выющимися волосами, сразу двое мужчин заломили ему за спину руки, прижали к каменному полу туннеля, он плакал и молил отпустить. В тряских тесных вагонах все пропитано близостью, доступностью, в них появлялись демоны, облаченные в человеческую плоть, одетые в изношенные манто, с испещренными, как исцарапанная лакировка, физиономиями, и ангельские лики девушек утонченной, невиданной восточной красоты, с черными густыми бровями, насмешливыми, слегка выпученными губами, раскосыми глазами, тяжелыми от туши ресницами и ослепляюще белой холодной кожей. Ты сидишь в полудреме, и вдруг тебе бросаются в глаза открытое плечо, декольте, колено, черные локоны, вздернутый носик — Незнакомка! Она сидела, забросив ногу на ногу, и смотрела перед собой, безразличная ко всему: к пассажирам, к грохоту, к болезненно подмигивающим лампочкам; ее легкое для осени платье шевелилось — васильки, на платье были васильки, колокольчики; я стеснительно оглядывался, стараясь, чтоб никто не приметил, как я люблю ее, смотрел на ее отражение в пыльном вагонном стекле (там, в стремительно летящей сквозь мрак перспективе, она казалась еще прекрасней и более недосыгаемой): белая грудь, тонкие лодыжки, тонкие руки, хрупкие пальцы, платье приоткрывало ее голени; воздух в метро такой живой, такой участливый, он доносил до меня запах ее духов, ее дыхание, — я долго ею любовал-

ся, думая заговорить с ней, но неподвижность ее взгляда меня парализовала, так и не решился. Была одна проститутка. Она села напротив меня, я услышал ее дыхание, намеренно громкое, призывное. У нее был хищный рот и развратные глаза, туш и помада немного размазались, но это ее не портило, наоборот, придавало больше шарма. Сильно прогнувшись, она откинулась назад и закрутила волосы. Нет, красивой она не была, но меня возбуждали ее легкое тесное платье и большая грудь (наверняка эта грудь потом вызвала бы во мне тошноту, и, как часто бывало, у меня бы ничего не вышло). На ее плечах лежал мятый арабский платок. Незаметно она стянула его и обвязала вокруг талии; туго затянутая, вызывающе соблазнительная, она играла концами платка, поочередно ударяя ими по колену и посматривая на меня; платье поднималось выше и выше, оно будто сжималось, приоткрывая ее сытную плоть; она была так доступна... но денег не было, и даже если бы были, я голодал, мои натруженные от ходьбы ноги ныли, мозоли щипали пятки, в тот день я много ходил, был в гостях у нескольких человек, которые согласились дать интервью, весь вечер занимался расшифровкой. Отвернулся и уставился в мелькающую черноту туннеля. Проститутка поняла, что я пустой, что не только в моих карманах ничего нет, но и желание мое поедено коррозией усталости, вмиг ее поза перестала быть вызывающей, спина ослабла, грудь обмякла, она натянула платок на плечи и пересела. Я не сразу пошел домой, долго в полумраке бродил по улице Тольбиак, заходил на улицу Артистов, ходил по прилегающим тихим улочкам, прогуливался по rue de la Santé, и когда пошел к себе, изможденный от впечатлений, работы и голода, услышал, как в клинике Святой Анны кричала сумасшедшая, на минуту я впал в оцепенение, затем быстро поднялся к себе, чтобы посмотреть из окна, но так ничего и не увидел, было темно, фонари светили слабо, крик терзал темноту, где-то за

стенкой работала швейная машинка, хозяйка квартиры сделала телевизор погромче, слышались еще голоса (санитары, возможно), хлопнула дверь, и все прекратилось. Роза Аркадьевна поселила меня к своей старой знакомой, которая укрывала ее с мужем во время оккупации, мне повезло: мое окно выходило на сад психиатрической клиники, и я часто туда посматривал, я решил, что это неслучайно — Париж с первых дней дал мне понять, что знает о моем прошлом. Я смотрел на темно-зеленые ворота, воображением просачиваясь в запертые комнаты, где находились пациенты, и видел тех, с кем когда-то делил мою не-свободу, на койках лежали те, с кем я пил чай, чьи рассказы слушал, от кого прятал глаза, кому улыбался; глядя на охряную стену клиники Святой Анны, я чувствовал, что часть меня еще томится в застенках и, может быть, никогда не будет свободной, потому что однажды перенесенный ужас будет сжимать мое сердце, как неизлечимая судорога, во всяком случае, пока будут решетки, запертые двери, за которыми томятся люди — хоть бы и один человек! — я не успокоюсь. По выходным я смотрел, как они, в тапках или галошах, халатах и смешных шапочках, прогуливаются в своем дворе. Там был настоящий парк, с дорожками, статуями, красиво стриженными кустами и клумбами. Они сидели на скамеечках, курили, разговаривали. Я видел, как некоторых уговаривали выйти: санитар стоял у дверей и приглашал, делая театральные жесты, даже кланялся. К ним приходили посетители... На черепичную крышу одного из отделений (старинное здание из серого камня с маленькими окошечками) листья падали, падали, покров делался плотней и плотней. Для меня эта крыша стала своеобразным указателем смены сезонов. Я следил за тем, как приближается зима. Дождь смывал листья с крыши, они снова падали, украшая черепицу, застревали в водостоке, прилипали к карнизам. В погожие дни ветер их срывал, уносил, но листья собирались

вновь, однажды они покрыли крышу плотным слоем и лежали так до весны.

С февраля в воздухе зреет что-то предгрозовое, гул идет по Парижу, неслышная дрожь закрадывается под кожу, все кажется чуть более настоящим, отчетливым, ярким, — так бывало в детстве перед каким-нибудь праздником или ответственным днем: от волнения в голове хрустело, как в скрипучий мороз. Впрочем, буря — еще тот праздник. В марте началось: Нантер. Пришлось ехать, смотреть, говорить, писать... Хотя казалось бы, какое нам, русским, дело до их забастовок?

— В нашей газете должно быть все, — отрезала главный редактор. — Мы тут живем. Мы — часть этой страны. Другой у нас нет.

Честно говоря, я с ней согласен: зачем себя ограничивать «эмигрантской жизнью»? Ехал в Нантер воодушевленный, ехал и думал: в Советском Союзе меня и близко к газете не подпускали, и не допустили бы, пациент психиатрической клиники — жирный крест, а тут — материал для первой полосы. Жаль, что ехать было недалеко. До этого я ездил в Страсбург на встречу с бывшими эльзасскими солдатами вермахта, которых насильно погнали на Восточный фронт, где они сдались на милость Красной армии и затем отбывали срок в лагерях, кто под Тамбовом, кто в Ульяновске. После возвращения газетчики их осаждали. Они не хотели ни с кем встречаться. Говорят, переговоры тянулись не один год, еще задолго до моего приезда эпопея началась. Наконец-то сломались; их уговорил местный пастор. Собирался ехать Вазин, старый эмигрант, перхотью обсыпанный кряхтун, ходил, посвистывал от удовольствия, но поехал я. Озлобившись, Вазин несколько дней со мной не разговаривал, желваками поигрывал; он меня не терпел еще до того, как я увел у него поездку в Страсбург, а с тех пор — всякое лыко в строку. Хотя моей прямой вины в том не было; *les*